

# ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

РЖАВЧИНА  
ОТ СТАРЫХ  
ЯКОРЕЙ

«Мемуарный» цикл

Владислав Крапивин

**Ржавчина от старых якорей**

«Автор»

2002

## **Крапивин В. П.**

Ржавчина от старых якорей / В. П. Крапивин — «Автор»,  
2002 — («Мемуарный» цикл)

Замечательная книга Владислава Крапивина. В ней необычным образом переплетаются рассуждения о Паустовском, детские воспоминания автора, зарисовки из жизни советских писателей и юных мореходов...

© Крапивин В. П., 2002

© Автор, 2002

## Содержание

Костик	5
Якоря	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

# Владислав Крапивин

## Ржавчина от старых якорей

### «Паустовские» рассказы»

#### Костик

Лежу на диване. Это мое наиболее частое и естественное положение. (Как, скажем, стояние цапли на одной ноге или погруженность гиппопотама в теплую жижу африканского болота) Лежание не означает безделья. Отнюдь! Во-первых, я, вытянув ноги и глядя в потолок, работаю – обдумываю сюжеты и планы. Во-вторых, размышляю о мировых константах и сущности бытия (что, кстати, тоже трудоемкий процесс). В третьих, глядя на телеэкран, воспринимаю информацию о текущих событиях. Впрочем, это чем дальше, тем реже – противно... Ну, и бывает, конечно, что иногда в той же позе отдыхаю. Да. Как сейчас, например.

Рядом со мной блаженно урчит рыжий кот Макс. Он лежит, задрав четыре лапы, и я чешу ему брюхо. Для Макса это пик блаженства.

Другой кот – черно-белый Тяпа – пренебрежительно смотрит на Макса с журнального столика. Тяпа – существо с характером. Не то что брюхо, а даже за ухом у себя почесать себя, он позволяет не всегда. Того, кто этим злоупотребляет, Тяпа хлопает по руке растопыренной когтистой пятерней или цапает зубами – не всерьез, но со значением: «Прошу без фамильярностей». Макс точка зрения Тяпы известна, но он ее игнорирует. И млеет.

Я тоже слегка млею, поскольку хлебнул из горлышка пива.

Но и Макс, и пиво для меня сейчас не главное. Основное занятие – смотреть в окно. И я смотрю. Окно широкое, с двумя боковыми гранями. Единственное, что его портит, это решетка – квартира-то на первом этаже. Но я к ромбическому узору решетки уже привык, машинально выношу его «за скобки сознания».

За окном – ржавые гаражи и старые тополя. Но гаражи скрыты за высоким подоконником. Нижняя часть древесных стволов тоже не видна. Видны лишь могучие развилки, великанские ветви, переплетенные сучья и чаща мелких веток. Все это образует хитрый густой орнамент.

Окно смотрит на северо-восток. Низкое вечернее солнце светит с запада. И ветви тополей, обычно зеленовато-серые, теперь окрашены мягким оранжевым светом. Хотя не только оранжевым. Здесь есть и золотистые отблески, и лимонные тона, и отсветы тускнеющей меди. Лишь справа, где немного тени, кора тополей остается темной. Но и там она не такая, как обычно, а с сизым и сиреневым налетом. Густые ветки (которым еще ох как долго ждать листву) окутаны едва заметной коричневатой дымкой. Это из-за тополиных почек. Почки еще не думают набухать, но сидят на ветках так часто, что для отдаленного зрителя сливаются в кисею.

И все это на фоне бледно-голубого чистого неба.

Ясное небо и оранжевая раскраска тополей создают впечатление весны. И я забываю, что гаражи тонут в сугробах, которые вчера намел февральский буран; что на улице тридцать шесть градусов мороза и что мой электрокамин безостановочно жрет энергию, чтобы поддержать в комнате приемлемую для хозяина и для котов температуру (и все равно приходится лежать под пледом).

Я утешаю себя мыслью, что пройдут месяц-полтора и весна в самом деле просочится в наш неуютный край. А пока медленно вожу взглядом по чащобе *якобы весенних* веток.

Ветки образуют множество узоров и картин. В их разглядывании есть спокойное тихое удовольствие. *Бескорыстное*, как сказали бы в старину. Таким образом, я занят созерцанием.

А созерцание – тоже не совсем безделье. Это, хотя и не обременительный, приятный, но в какой-то степени труд.

О пользе созерцания не раз писал Константин Георгиевич Паустовский. А поскольку для меня в писательском деле нет выше авторитета, чем этот удивительный мастер, я то и дело обращаюсь к нему за поддержкой собственных суждений.

Вот и сейчас я беру девятый том Паустовского – его письма. Это у меня настольная книга. Впрочем, выражение «настольная», здесь не точно. Я давно уже не работаю за столом. На моем письменном столе чего только нет! Письма, старые газеты, морские раковины, микромодели корабликов, видеокассеты, немытые рюмки (после вчерашнего нашествия гостей), плеер (сло-манный), бронзовые статуэтки и всякий хлам (даже коты ступают осторожно, когда идут через стол). А книгу следует назвать «надиванной» или даже «наспинной», поскольку она всегда лежит на горизонтальном верхе спинки дивана – широко, как полка. Вместе с другими нужными книгами, тетрадями, свежими письмами и пультом телевизора.

Ну и вот, я беру письма Паустовского и открываю нужную страницу. Эту книгу я читал и перелистывал такое множество раз, что любое письмо нахожу моментально. И вот он, тот самый абзац.

В письме Виктору Шкловскому Константин Георгиевич сообщает.

«Моя склонность все рассматривать, в то время, когда доблестью писателя является «боевитость» (какой клинический идиот придумал и пустил в оборот это слово!) просто расцветает здесь в парке. Я сижу часами, опираясь по-стариковски на ту палку, что ты мне подарил, и тоже часами рассматриваю какой-нибудь листок бересклета или ржавую землю.»

Я привычно хихикаю, прочитав про «боевитость». Вспоминаю. Письмо написано в декабре 1958 года, а лет через тридцать суждения о «боевитости» коснулись непосредственно меня.

В ту пору только-только начинала давать трещины идеологическая платформа советской литературы, в основе которой лежал метод социалистического реализма и «классовое самосознание пролетарских писателей». Неколебимо-большевистское руководство писательского союза решило, что лучший метод обороны – контратака. Было объявлено: для борьбы с чуждыми веяниями наши писатели не должны бояться в своих произведениях никаких конфликтов и быть по-настоящему боевитыми. По областным писательским организациям был разослан соответствующий циркуляр. Мол, примите к сведению, проведите соответствующие творческие собрания и отчитайтесь.

Наш многолетний писательский шеф, Лев Леонидович Сорокин, тоже получил такое предписание. Талантливый поэт и прекрасный человек, он в силу занимаемой должности и в силу того, что вынужден был служить буфером между начальством и рядовой писательской братией, ответил этому самому начальству, что ответственное поручение будет выполнено с полным пониманием его, поручения, важности.

Было решено избрать кандидатуру и обсудить, насколько данная кандидатура в своем творчестве боевита.

И вышло, что наиболее подходящей для этого аттракциона фигурой является ваш покорный слуга. Мои повести и романы, где раньше усматривалась «немотивированная конфликтность», «посягательство на нормы советской педагогики», а также всяческий «срыв, отрыв и подрыв», теперь, оказывается, наиболее отвечали новым требованиям.

– Слава, – сказал мне Лев Леонидович, – я очень прошу, не отказывайтесь. Я уже сказал о теме собрания в райкоме...

Однако полузабытые колючки юношеской поры снова зашевелились во мне. И я с удовольствием, процитировал милейшему Льву Леонидовичу слова любимого писателя о клинических идиотах.

Лев Леонидович вздохнул. Глянул на меня глазами кроткого, загнанного в охотничье кольцо оленя.

– Слава, – проникновенно сказал он. – Я прошу вас: не надо. Я очень прошу: ну НЕ НАДО...

Я был уже не юноша, дело шло к пятидесятилетнему юбилею. Возраст, когда понимаешь неизбежность разумных компромиссов. А главное – необходимость сострадать давнему товарищу по перу, оказавшемуся в дурацкой ситуации.

– Ладно, – вздохнул я. – Надеюсь, Константин Георгиевич не судил бы меня слишком строго...

Собрание прошло на ура. Боевитость была признана стопроцентной, о чем вскоре и ушло сообщение в московские сферы. При обсуждении не прозвучало ни единой критической ноты. Дабы эту ноту внести, Лев Леонидович попробовал было слегка упрекнуть в традиционности сюжета и шероховатостях стиля трилогию «Алые перья стрел», которую написали мы вдвоем с братом Сергеем Петровичем. Расчет был прост: вроде бы и критика прозвучала, и в то же время ее можно отнести не к тому, кого обсуждают, а к другому... Но я решительно возразил, что подымать этот вопрос неэтично, поскольку моего соавтора уже нет в живых. Все со мной охотно согласилось. Тем более что ожидалась вторая, неофициальная часть собрания, где и обстановка будет свободнее, и суждения откровеннее...

На этой, второй части я все же не удержался и своим соседям по столику пересказал абзац из письма Паустовского Шкловскому. А дабы это не ушло дальше нашего круга, процитировал абзац из еще одного письма – Константину Федину:

«Каковы братья писатели! Как гадала старая цыганка «Есть у тебя друг – блондин. Так он не блондин, а сволочь».

Братья писатели понимающе посмеялись. «Блондинов» среди них не было...

Письма Паустовского можно читать, как роман. Стил настолько великолепен, описания настолько яркие, образы настолько живы, что не устаешь перечитывать эту книгу снова и снова. Для меня она (повторяю – для меня) интереснее всех других сочинений Константина Георгиевича. Интереснее даже его обширной, из шести книг, «Повести о жизни». Потому что я знаю: в «Повести» автор отдал немалую дань воображению, а в письмах – факты и только факты, хотя и рассказанные тем же замечательным языком прозаика-мастера.

Нет, не подумайте, что я против фантазии в биографических вещах! Фантазия – священное право автора, о чем бы он ни писал. Без нее просто нельзя. Я и сам, в меру своих способностей и воображения, расцвечивал и перестраивал события в своих, казалось бы, совершенно документальных повестях и рассказах. И то, что Константин Георгиевич, излагая события своей жизни, создавал особый, подчиненный собственным взглядам, собственной памяти мир – естественно и справедливо. Этот мир не менее реален, чем то, что «было по правде». (А что есть правда? По крайней мере, в писательском труде...)

Но дело в том, что мое отношение к Паустовскому давно уже вышло за рамки отношений «читатель – писатель». Константин Георгиевич (которого я никогда в жизни не видел) постепенно стал для меня столь же близким и живым человеком, как родные люди, как друзья, как те, кто всегда рядом. Ведь и в самом деле рядом – стоит лишь открыть книгу... Я читал о нем воспоминания в книгах и журналах (всё, что мог достать), вникал в подробности его биографии, в детали бытия. Спасибо блестящему журналу «Мир Паустовского», который рассказал о жизни мастера немало до сей поры неизвестного.

Мне кажется теперь, что я знаю о Константине Георгиевиче очень многое. Конечно, это лишь кажется, но я живо представляю его облик, походку, манеру говорить, глуховатый от астмы голос. Я даже словно могу угадать, когда собеседник ему интересен, а когда вызывает лишь сдержанное желание поскорее окончить разговор и остаться одному. И поэтому (упаси

Господи!) не решаюсь вступать с ним даже в мысленный разговор. Нет, я не тревожу уставшего от болезней и трудов писателя никакими мысленными вопросами (тем более что вдруг они не совсем «мысленные»!). Но зато иногда своими нервами ощущаю *его* заботы и тревоги. Его муки над чистым листом бумаги, его боязнь, что вдруг уже не напишется никакая новая повесть, его страсть к путешествиям и тоску по дому во время этих путешествий; его вечное беспокойство за близких, за детей – своих и приемных, – его неистребимую любовь к морю и к полям России...

Чудится порой, что я живу в кругу близких к Паустовскому людей. Тихий, незаметный свидетель его жизни. В какой-то степени я в этой жизни даже хозяин. Конечно, я ничего не могу в ней изменить, не могу предотвратить или перестроить события. Но могу почти со скоростью света путешествовать по этим событиям. Захотел – и в один миг перенесся в то место и время, куда позвала душа. Взял и оказался то в санитарном поезде пятнадцатого года, где санитар-доброволец Костя пытается облегчить боль раненых солдат; то на озерах под Солотчей, где вместе с Гайдаром и Роскиным Константин Георгиевич отдается вечной своей страсти – рыбалке; то на штормовой палубе парохода «Димитрий», то во фронтовой Одессе, то в Батуме начала двадцатых годов, то в Париже пятидесятых. И всегда – рядом с *ним* ... И можно который уже раз подряд пережить вместе с ним появление первой книги, радость рождения сына, замирание души виде новых морей, берегов и стран, тоску и счастье бережно хранимой любви, непостижимое таинство вдохновения, когда возникает новый замысел...

Да, все это возможно, стоит лишь открыть нужную страницу с письмами.

Правда, в этом зачитанном томе нет писем детских времен. Ну и что? Я беру повесть «Далекие годы», и маленький Костик, живший сто лет назад, оказывается рядом. Такой, каким он был на самом деле или такой, каким помнил его писатель полвека спустя? Не все ли равно! Это грани одной многогранной реальности.

Здесь я прошу у дотошных читателей прощения. Они вправе подвергнуть меня суровой критике за то, что повторяюсь. За повторения ругали меня неоднократно. Но попробуйте не повторяться, если пишешь сорок пять лет подряд. (Да, попробуйте, а потом уже ругайтесь!) Дело в том, что я уже писал – в рассказе «Стрела от детского арбалета», – как познакомился с книгой «Далекие годы». Правда, коротко писал, одним абзацем. А теперь снова должен вернуться к этой истории.

В ту пору я был пятиклассником и жил в Тюмени. В начале пятидесятого года мы переехали с улицы Нагорной на улицу Грибоедова, где отчиму наконец-то дали служебную квартиру. Маленькую, в старом деревянном доме, но отдельную. А неподалеку, на углу Грибоедова и Запольной жила в одноэтажном доме с палисадником и сугробами у окон моя старшая сестра с мужем и маленькой дочкой. Они снимали там комнату у семейства Тихоновых.

Тихонов-отец был седоватый молчаливый бухгалтер. Он служил в управлении железной дороги и носил помятый китель с серебряными погонами, на которых тускло поблескивали лейтенантские звездочки и крошечные паровозики. Эти паровозики мне очень нравились. Я даже просил сыновей бухгалтера – Витьку и Борьку – раздобыть для меня у отца такой паровозик. Обещал взамен что-нибудь хорошее – рогатку с красной резиной, цветной диафильм-сказку «Халиф-аист» или старинный пятак с вензелем Екатерины Второй. Но братья говорили, что лишнего паровозика у отца нет. Вот если отменят у железнодорожников погоны, тогда уж... Погоны и правда скоро отменили, но паровозика я так и не дождался, поскольку к тому времени с братьями Тихоновыми рассорился.

А в начале пятидесятого года мы были почти что приятели. Я часто приходил к сестре и волей-неволей то и дело встречался с Витькой и Борькой.

Витька был мой ровесник. Спокойный, белобрысый, книжки почитывал, хотя и не столь увлеченно, как я. А Борька – на год младше. Черноволосый, вредный, задиристый. Пониже



меня, но шире в плечах и, главное, не в пример храбрее в драках. Чуть чего – сразу кулаки. Увы, я далеко не всегда мог противостоять его безоглядной агрессивности. А когда все-таки сумел и расквасил ему в драке губу, наши добрые отношения прекратились навсегда.

Но, повторяю, это случилось позже. А в феврале мы играли вместе. И однажды решили построить во дворе Тихоновых снежный дом. Заранее предвкушали, как славно будет сидеть в таком «эскимосском» жилище, подкладывать щепки в мятую жестяную печурку, попивать согретый на этой печурке чаек и рассказывать всякие интересные истории.

В сугробах среди рябин мы вырыли квадратное углубление, метра два шириной. Над нами прыгали снегири, стряхивали на шапки снег и склевывали с верхних веток уцелевшие с осени, промерзшие ягоды. Квадратную яму мы обложили сверху брусками спрессованного снега. Получились довольно высокие стены. Сверху мы положили взятые с огорода жерди и листы полусгнившей фанеры. Забросали крышу снежком. Вывели сквозь нее наружу трубу печурки. И здесь меня осенило: для пушего уюта нужны окна.

– Совсем тупой, да? – тут же «завёлся» Борька. – Холод в дыры ползет!

Но я знал, что советую. На квартире, куда мы недавно вселились, перед нашим приездом был сделан ремонт. Заменяли в окнах рамы. Остатки старых, полусгнивших рам отнесли в сарай, а стекла из них так и не вынули. И вот эти стекла в обрамлении шатких оконных переплетов могли теперь пригодиться для снежного дома.

– Ну, ты и псих, – злорадно сказал Борька. – Мамочка тебе за это задницу так надерет, что до весны не сядешь.

Но я сбежал домой, и мама разрешила взять для игры обломки старых окон. Я погрузил их на санки, привез на двор к Тихоновым.

Витька и Борька посмотрели на мой груз. Друг на друга. На меня. Опять друг на друга.

Витька хмыкнул, помотал головой и спросил:

– Это тебе по правде отдали, насовсем? Для «просто так»?

– Не просто так, а чтобы окна в доме...

– Ну, дура-ак, – сочувственно протянул Борька.

– Почему?!

Братья, хмыкая и удивляясь моей глупости, растолковали, что стекла и деревянные бруска – «добро». Оно денег стоит. Можно пустить все это на парники или на ремонт дома, или... да мало ли на что! Но уж никак не для пустой забавы.

Я не считал снежный уютный дом пустой забавой. Он был для меня тогда частичкой жизни и обещал радость. Разве она не стоила нескольких стекол?

Но объяснять все это братьям Тихоновым я не стал. Понял – лишний раз окажусь перед ними дураком. Только пожал плечами...

– Если тебе их не надо, отдай нам для хозяйства, летом пригодятся, – здраво рассудил спокойный Витька.

– Да берите, – поскучнев, разрешил я. Ссориться не хотелось.

Все же я уговорил братьев одно стекло с остатками рамы использовать для постройки. А когда снежная хибара растает, пусть забирают и его. Они, усмехаясь, пошли на эту уступку. А остальные стекла потащили к себе в дровяник.

Вышла на двор их сухая решительная бабка. Пожелала узнать, что происходит. Витька и Борька, издалека поглядывая на меня и подхихикивая, вполголоса объяснили ей. Бабка глянула на меня с жалостливым сочувствием. Она, конечно, была рада неожиданному «добру», но меня явно осуждала за бестолковость и расточительность.

Бабка не любила меня. При встрече всегда поджимала губы. А однажды весной, когда мы с Борькой очередной раз чуть не сцепились в драке, обозвала меня вшивой интеллигенцией. На «вшивую» я обиделся. Никогда у меня вши не водились, даже в самое голодное и холодное

военное время. Я сказал бабушке, чтобы сама ходила в баню. Бесцветные бабушкины глаза позеленели. А я после этого не появлялся у Тихоновых долгое время...

Снежный дом был готов к вечеру. Мы растопили печурку, сели у нее на принесенные из сарая чурбаки. Скоро сделалось тепло. Если не касаться снежных стен, то прямо как в землянке. Запахло горячей лучиной, нагретым железом печки, кислой шерстью оттаявших валежков и чайной заваркой. Мы пили чай из эмалированных кружек, зажимая в зубах кусочки рафинада. Витька стал рассказывать страшную историю, которую летом слышал в пионерском лагере – про деревенских ведьм и мальчишку, приехавшего к дедушке на каникулы. Это историю я знал (кстати, она была глупая). Но все равно мне было хорошо. От оранжевых отблесков искрились снежные кирпичи. За стеклом узкого горизонтального окошка синели ранние сумерки. На этой синеве четко рисовался узорчатый жестяной дымник над печной трубой тихоновского дома. Недалеко от дымника переливалась, как вертящийся голубой кристалл, крупная звезда. Я был уверен, что это планета Юпитер.

Но в глубине души у меня все-таки скреблась досада. Я понимал, что рядом со мной не настоящие друзья. И досадовал я даже не на слишком взрослый (я говорил про себя – «кулацкий») практицизм братьев Тихоновых, а на то, что отсутствие такого практицизма во мне они считали признаком неполноценности (помнил, как хихикали). Но все же сейчас было уютно: треск лучины в печке, звезда за окошком. Даже Борька притих, не вредничал.

Потом нам крикнули с крыльца, что пора ужинать. Мы комками снега загасили печку. Я перекусил у сестры и перед тем, как отправиться домой, зашел в комнату к Тихоновым – спросить у Витьки, нет ли чего-нибудь почитать. На вязаной скатерти лежала книжка с названием «Далекие годы». Довольно потрепанная. На рисунке обложки была фигурка мальчика. Он сидел под деревом, подтянув к груди коленки, и что-то читал. Видно было, что читает увлеченно.

Я полистал. Стало ясно: речь идет о ребячьей жизни в начале века. Мне нравились такие книжки – «Белеет парус одинокий», «Артемка в цирке», «Рыжик»...

– Можно взять денюшка на три?

Витька сказал, что пожалуйста. Он даже не знал, откуда у них эта книжка. На вопрос, интересная ли, ответил с зевком, что так себе, до конца он не дочитал. Но я-то уже по первым, выхваченным наугад фразам понял, что дочитаю до конца.

Дома было тихо. Отчим уехал в командировку, трехлетний братишка Олег уже спал, мама что-то шила у керосиновой лампы (электричество неожиданно отключили, такое нередко случалось в ту пору; впрочем, как и сейчас). И я читал «Далекие годы» сперва у этой лампы-десяти-линейки (такой калибр стекла), а потом, когда мама велела спать и лампу задула, – с электрическим фонариком. Фонарик был самодельный – примотанная к плоской батарейке лампочка с рефлектором из жесткой фольги.

– Ты будешь спать наконец?

– Ну, ма-а! Завтра же воскресенье!

Мама сказала, что я бессовестная личность, и махнула рукой. И я читал, боясь лишь одного – что иссякнет энергия в батарейке.

Я так подробно пишу об этом вечере потому, что в памяти у меня с ним накрепко связано знакомство с писателем Паустовским. Вернее, с мальчиком Костиком, который с той поры моим стал тайным другом. Таким, которому я мог доверять все свои секреты. И теперь я уже понимал, что уют снежного дома среди завьюженных рябин, оранжевый огонь печурки, черное кружево дымника и яркий Юпитер в окошке не имели отношения к братьям Тихоновым. Все это было Костика и мое.

...Кстати, потом я обратил внимание, что никакого дымника над трубой того дома нет. Видимо, память моя перенесла туда это жестяное украшение с других тюменских труб. Но

память знает, что делает. Порой она создает мир, который гораздо реальнее того, что сложен из голых фактов, как из бесцветных твердых кирпичей. Реальнее и правильнее...

Костик так же, как я, любил книжки и уединение и не любил драки. Так же, как я, создавал фантастический флот (только у него он был в обширных пароходных списках, а у меня, сделанный из кусочков сосновой коры, стоял, как в гавани, в жестяном тазу). Так же, как я, Костик рисовал карты фантастических побережий, бродил по заросшим пустырям, мечтал о дальних странах и тосковал, когда оказывался вдали от дома...

В том, что Костик мой друг, я убедился окончательно, когда прочитал (в момент почти полного истощения фонарика) такие слова:

«Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.»

Я бы тоже хранил, как драгоценность!

Но ни в заросшем старыми каштанами Киеве, ни в укутанной тополиным пухом Тюмени якорей не было.

## Якоря

Впрочем, я, конечно, ошибаюсь. Якоря можно было найти и в Киеве, и в Тюмени. У речных пристаней, под кручами Днепра и под заросшими бурьяном откосами неширокой, но вполне судоходной Туры. Другое дело, что ни мне, ни Костику до поры, до времени не позволялась бывать на этих далеких от дома пристанях и лазать под обрывами. И к тому же, на речных якорях все равно не было коричнево-рыжей морской ржавчины, которая отламывается от металла плоскими твердыми кусочками.

А якоря были, да. Первый настоящий якорь я увидел еще в семилетнем возрасте, когда мы с мамой пошли на пристань провожать отчима в командировку. Якорь лежал в клевере и подорожниках, недалеко от дощатого тротуара, ведущего к дебаркадеру. Своей верхушкой с большим кольцом он был прислонен к толстому, косо врытому столбу (так что не «лежал», а «полулежал»). Был якорь из той породы, что называют якорями Холла. Это мне снисходительно объяснил отчим Артур Сергеевич, который кое-что понимал в морских делах.

Отчим добавил, что раньше, до революции, фамилия «Холл» произносилась неправильно – «Галль». Потом моряки это исправили. А сухопутные инженеры не исправили, и поэтому завод на другом берегу Туры называется «Цепи Галля», хотя изобретатель этих цепей был однофамильцем Холла, придумавшего якорь.

Завод «Цепи Галля» стоял у самого берега. От воды его отделяли свалки ржавого металла. Мальчишки, приходившие купаться на песчаные пляжи под обрывами, часто переплывали Туру, чтобы набрать на свалках горсти железных «шайбочек». Впрочем, это были не шайбочки, а железные кружочки формой и размером похожие на аптечные таблетки. Они служили пулями для рогаток. Попадая в оконное стекло, такие пули не высаживали его целиком, а оставляли небольшую лучистую пробоину... Впрочем, это отдельная тема. Я тоже плавал с мальчишками за «шайбочками», но такое случалось позже. А пока я стоял перед якорем и обмирал от тихого восторга. От сознания, что это *настоящий корабельный якорь*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.